

Татьяна Полетаева

Истории прошлых лет

Есть несколько историй, которые не оставляют меня. И я знаю, как сделать, чтобы они не возвращались ко мне снова и снова — их надо записать. Обычно это истории о тех, кто не пишет историй или если их героев нет на свете. И можно увидеть, как в том живом зеркале жизни, словно в калейдоскопе, несколько цветных стеклышек складываются в неповторимый, многоцветный и причудливый узор.

Портрет

У меня есть две мамины фотографии в юности. На одной она с младшим братом Дмитрием. На фотографии у мамы правильный и мягкий овал и взгляд тоже мягкий. Здесь это не видно, но глаза у нее зелено-карие, открытый лоб с волной темных волос, узкие, как будто нарисованные брови, губы, чуть тронутые улыбкой. В жизни ей нечасто удавалось улыбаться: юность пришлось на войну, работу на военном заводе в эвакуации и на послевоенную трудную жизнь матери-одиночки с двумя детьми. На другой фотографии она лет четырнадцати у гробика с младенцем — ребенком сестры Анисьи и ее мужа Ваньки Кваса, как называли его в деревне за скандальный нрав. На этой фотографии дядя Ваня как две капли воды похож на американского актера Каспера Ван Дина из «Звёздного десанта». Непонятно, каким образом у моего дяди, сначала рязанского деревенского парня, а потом коммуниста и начальника ОБХСС¹, на другом конце света через пятьдесят лет появился двойник: морпех, сын кадрового военного, потомок индейцев и голландцев. Видимо, и правда, все мы дети Адама.

Всю жизнь мать писала мне подробные «объяснительные» записки на несколько страниц, исписанные вкруговую ее волнениями, советами, пояснениями и приписками в углах и сбоку листа: как и что нужно сделать. Ей казалось, что так она уберезет меня от всех возможных неприятностей и неожиданностей. Вот образчики ее живой речи: «Улетела ты моя голубка... Таня, ты у меня как летчица, так скользко, а ты где-то носишься... Ходишь с мешком (про модную тогда сумку-торбу), как Петрушка, и ключи теряешь...» Сестре обо мне: «У нее всегда пожар горит...» Провожая меня: «Опять поезда догоняешь...» Когда я училась в Ленинграде, она посылала мне длинные телеграммы по пятьдесят слов и жаловалась, что телеграфистки отказывались их принимать, требуя сократить текст. В письмах она обращалась ко мне не иначе как

Полетаева Татьяна Николаевна — поэт, автор баллад и сказок, член Союза российских писателей. Родилась в 1949 году в Москве. В 70-е годы участвовала во всех выпусках самиздатской поэтической антологии «Московское время». Автор многочисленных поэтических книг и сказочных повестей. Живет в Москве.

¹ Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности.

куколка моя, солнышко, птичка, чижик, куропаточка, а еще несносная девчонка и непослушница. Если бы я вздумала собрать ласковые эпитеты моих возлюбленных вместе, они бы не перекрыли потока маминой нежности.

Когда мать заканчивала какое-то долгое и трудное дело, то наряжалась и, улыбаясь, говорила о себе: «Ангел в отпуске». И я в детстве думала, что мамин ангел вовсе не похож на обычного ангела: он такой трудяга, да к тому же у него есть отпуск. Мать давно не говорит со мной и даже почти не снится. Но я не могу сказать, что ее нет. Иногда я вижу ее совершенно отчетливо между дел и мыслей, вот как сейчас. Не лицо, а лишь ее силуэт, ее голос, ее запах, ее прохладную ладонь на моем пылающем лбу, горячую опрокидывающую волну нежности, исходящую от нее. А я за пустыми делами так и не успела записать замечательные песни, которые она пела, и не успела сказать, что очень ее люблю, — мне казалось, что она вечная.

Первое, что я помню: как сижу посреди комнаты на тахте в красном с вышивкой пальто, а рядом стоит мама с большим животом. Значит, мне еще нет двух лет и сестра еще не родилась. Я вижу комнату в бараке, метров пятнадцать, она кажется мне огромной залой. В более поздних воспоминаниях комнату разделяют платяной шкаф и простыня, натянутая между ним и стеной. Я вижу стену, расписанную вручную: на серебряном поле мелкие розовые цветочки с зелеными листьями. Эти цветочки рисовала соседка-малярша. У окна — большая табуретка вместо стола и детская коричневая коляска, в которой спит уже родившаяся сестра, а я сплю с мамой на раскладушке. Точнее, спит мама, а я бужу ее: «Мама, читай дальше!» Я даже пытаюсь открыть ей глаза. Мне невдомек, что скоро час ночи, по радио давно отзвучал гимн, а в пять утра ей встать, открывать палатку «Союзпечати», где она работает. Мама, с трудом разлепив глаза, читает мне, как падчерицу послали в ночь раздобыть огня и как скачет мимо нее «всадник, сам белый и конь под ним белый». Я и сейчас вижу перед собой этого белого всадника — пока я писала, уже рассвело...

Восхитительные и жутковатые русские сказки из сборника Афанасьева и мамины «жестокые» городские романсы — самые яркие воспоминания детства. Вместо колыбельной мама пела мне: «По Дону гуляет» — и на словах «вот тронулся поезд — обрушился мост» я представляла себе крушение железнодорожного состава, а не конный свадебный кортеж. Помню еще одну жалостливую песню, я ее потом никогда не слышала. Песня была про умирающую в степи цыганку. Она начиналась так: «Разбудил меня стон в эту темную ночь...» Далее сюжет разворачивался почти как в романе «Воскресение»¹. После слов: «вся в огне и в бреду, в рамке черных кудрей — он узнал, но она не узнала» — по моим щекам катились слезы, и мать говорила: «Что же ты плачешь, глупая, это же песня». Я не признавалась, что плачу, потому что мне жалко цыганку, а говорила, что вспомнила папу. Но папу я не могла помнить. Поскольку в моем свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, мне, конечно, было интересно узнать о нем. Со временем я поняла, что знаю о нем достаточно. Все эти сказочные фантазии, песни, стихи, слезы и чувства через край — все это от мамы. А здравый смысл, страхующий меня от возможных последствий этого фантазмагорического наследства, — это от отца. Незадолго до смерти мама сказала, что случайно встретила моего отца, и хотя у него были семья и дети, он просил позволения увидеть меня. Она не позволила.

Мать называла нашим с сестрой отцом своего гражданского мужа, инженера-строителя. Она заговорила о моем отце, когда я уже была взрослой. После того, как я спросила ее: «Почему у нас с сестрой разные отцы?» Мать посмотрела на меня затравленно и вдруг сказала: «А ты знаешь, что это твоя тетка Настька влезла между мной и твоим отцом? Только у нее родился мертвый ребенок, а ты родилась живая, "в рубашке", так что должна быть счастливой». И заплакала, должно быть, я ее обидела

¹ Роман Льва Толстого.

своим вопросом. Настька — белокурая и ангелоподобная младшая мамина сестра. Она потом вышла замуж за директора завода, и у них родился сын. Но в моем детстве ее не было, мама общалась лишь со старшими сестрами. Со временем сестры помирились, и мы бывали у тети Насти. Но чаще мы бывали на каникулах в Тушино у маминого брата Дмитрия, двумя годами младше ее. Однажды на Новый год дядя с тетей ушли в гости, оставив нас с сестрой с двумя младшими двоюродными братьями, телевизором и целым тазом пирогов. Когда они вернулись утром, все были в порядке, только таз был пустой.

На Новый год мать ставила в кувшин на табурет пушистую, зеленую и пахучую ветку, принесенную с елочного базара. Мы украшали ее бумажными флажками, звездами, дождем из фольги и картонными рыбкой, зайцем и уткой. Деда Мороза мать вырезала из новогоднего плаката и наклеила на картонку от обувной коробки. Однажды сестра вырезала из новой тюлевой занавески цветочки, для украшений. Попало, конечно, мне: за то, что не уследила. А занавеска так и висела на окне вся в дырочках, пока ее не заменили новой. Позднее появились у нас разноцветные стеклянные бусы, стеклянные шары, сосульки и шишки. Мы с сестрой надевали на себя тюлевые накидки с подушек, а мать заводила патефон и ставила пластинку: «Ой-да на речке, было на Фонтанке: стоял извозчик, стал быть, молодой». Когда я через много лет оказалась впервые в Питере и стояла на берегу реки Фонтанки, то на меня повеяло запахом хвои, теплом и деревянным баракком. А еще я вспомнила, как весной, когда сходил снег, мы, мелкота, высыпали во двор и делали лунки в земле, куда клали фантик, монетку или бусинку, прикрывая их осколком стекла и горстью земли. Чтобы потом откопать свой «клад», спрятанный за мутным, подсвеченным изнутри стеклышком.

Итальянцы

Мамина мать, моя бабушка Мария была из мещан, ее родители умерли во время голода 1891—92 годов, и она воспитывалась в приюте. Бабушка была очень набожная и по достижении восемнадцати лет собиралась принять постриг. Тем летом она работала у священника, своего духовного отца, в его имении под Ново-Иерусалимом. Там Марию и увидел мой дед, которого пригласили туда по плотницкому делу. Дед влюбился в работающую и строгую красавицу и позвал ее замуж. «Я не замуж собираюсь, я на послушании — собираюсь постричься в монахини», — строго ответила девушка. Дед не отступился и пошел к ее духовному отцу просить отдать Марию ему в жены, и тот согласился. «Вот что, Мария, Бог посылает тебе мужа, и значит, твое послушание жить в миру, выходить замуж и рожать детей», — напутствовал духовный отец, отправляя сиротку в огромный чужой мир. Венчались дед с бабкой в ближайшем с деревней деда Христорождественском храме в селе Юркино.

Впервые я увидела мамину церкву (как она ее называла), когда она повезла нас с сестрой в Ново-Иерусалимский монастырь. После войны прошло лет пятнадцать, и монастырь был практически в развалинах. Мама охала: «А какой красивый был до войны!» Мы переночевали у знакомых в Истре и потом полдня шли пешком до этого самого Юркина. («И чего вы пешком-то шли, там теперь автобус ходит», — говорила потом сестра матери Анисья.) Когда подошли к церкви, хлынул дождь, и мать, перекрестившись, завела нас под гулкие высокие своды. «Ну, вот и свиделись», — сказала она, когда мы разыскали неподалеку от старинных надгробных плит простую с железным крестом бабушкину могилу. Так что до соседнего с Егорихой Сорочкина мы добрались лишь к вечеру. Там нас угостили яичницей с сомом, выловленным здесь же в узкой и быстрой речке. Утром отправились за три километра в мамину деревню. Дорога привела нас на опушку леса, где мы нашли землянику, деревню мы не нашли,

ее немцы сожгли. Мать ходила по поляне и говорила: «Вот здесь стоял отцовский дом, а там бабушкин — меня в честь нее Евдокией называли...»

Несколько лет назад мы с сестрой и ее мужем были у матери на кладбище, они заезжают туда по дороге на дачу. Мама похоронена рядом с бабушкой, как она просила, и совсем рядом со старинной церковью, где венчались дед с бабушкой, где крестили ее и всех ее братьев и сестер. Когда мы возились с уборкой могил и сажали цветы, проходивший мимо старик (видимо, был у кого-то из своих) поинтересовался:

— Чьи вы?

— Здесь похоронены родные жены — Полетаевы они, — ответил шурин.

— Полетаевых я хорошо помню, у них все девки красивые были, парни из-за них все время дрались.

И посмотрел на мою статную, белокурую и голубоглазую сестру.

Когда я приезжала к маме в последний раз, старый храм стоял в лесах, и перед ним появилась табличка: «Христорождественский храм села Юркино. Памятник архитектуры федерального значения. Один из самых ранних образцов вотчинного каменного храма в Подмоскowie. Построен предположительно в 1490—1500 годы при участии итальянских мастеров в родовой вотчине боярина Якова Семёновича Голохвастова. В 1823 г. на средства князя Петра Николаевича Оболенского пристроена трапезная с приделами: один — святителю Николаю, а второй — священномученикам Клименту Папе Римскому и Петру Александрийскому, а также колокольня в три яруса. В конце 30-х годов храм был закрыт. В 1948 году была разрушена трапезная».

Пока я читала, с лесов спустились двое рабочих.

— Как идет работа? — спросила я.

— Вот кирпич в руках рассыпается...

И только в электричке, возвращаясь в Москву, я сообразила, почему весь день эта фраза про рассыпающийся кирпич не давала мне покоя. Еще бы, ведь этим кирпичам больше пятисот лет. Если храм строили итальянцы на рубеже пятнадцатого-шестнадцатого веков, то это те самые итальянцы, что и Кремль и храмы кремлевские строили. Кирпичное строительство на Руси за время татаро-монгольского нашествия было забыто. Первый кирпичный завод был построен в Москве при Иване III знаменитым итальянским архитектором и инженером Рудольфо Фиораванти. Об этом довольно подробно написано в летописи. Как итальянец за неделю разбил тараном предыдущий обрушившийся собор, как забил в глубокие рвы дубовые сваи. Как потом соорудил новую печь для обжига кирпичей и предложил новый способ приготовления раствора (как «засохнет, то ножом невозможно отколупать»). А своды собора впервые на Руси Фиораванти выложил толщиной в один кирпич, используя в строительстве механический подъемник и железные тяги. Эту историю я в течение десяти лет рассказывала, когда водила экскурсии по Кремлю, пока за публикацию стихов во Франции в 1982 году меня не уволили с этой работы.

А история была замечательная — о том, как великий князь Иван III пригласил итальянского архитектора и инженера построить храм за двадцать фунтов серебра в год (большие деньги по тем временам). Итальянец получил этот выгодный заказ по ходатайству княжеской жены Софьи, своей землячки. На заработки он отправился с сыном и подмастерьями. Как приехал, разобрал развалины и заложил основание нового храма. Посмотрел правитель и приказал разобрать все, а строителя отправил на экскурсию по русским достопримечательностям, чтобы освоил национальный колорит. Не прошло и двух лет — и поднялся храм «высок, чуден и светел», как написали в летописи. Великий князь остался доволен, но деньги платить не торопился: теперь надо бы храм стеной обнести. А инженер возьми и скажи: «Это не мое дело — мне домой пора». Тогда правитель велел схватить инженера, да и сына заодно, под замок посадил и пригрозил: «Не построишь мне крепость — сгною, построишь — отпущу с миром». Так в местной тюрьме, в «яме» и чертил чертежи будущей крепости

злополучный инженер. Как чертежи нарисовал — из тюрьмы выпустили. А тут война, правителю пушки нужны. «Поставь мне, — говорит, — литейный двор, тогда и денег дам, и домой отпущу». Что тут поделаешь? Поставил инженер литейный двор да и на войну отправился старшим пушкарем или, как теперь бы назвали, инструктором по стрельбе. Все это продолжалось без малого десять лет. Там на дороге, в артиллерийском обозе, от чахотки и умер старик, там и похоронили. И крепость уже его подмастерья достраивали. А сына того инженера правитель потом домой отпустил. Так что стоит теперь в центре нашего города крепость, по чертежам итальянца построенная, и водят по ней экскурсии мимо царь-пушки и царь-колокола, отлитых на его литейном дворе...

Итальянцы, строившие Кремль и кремлевские соборы, были любимым сюжетом в моей экскурсии. Я даже балладу написала «Чудесный гений» (так в Италии называли Фиораванти, а еще Аристотелем — за блестящий математический ум и изобретательность). Он так и сгинул на русских просторах, но его имя — архитектора главного русского собора, автора проекта стен и башен существующего и поныне московского Кремля, основателя не только литейного, но и монетного двора — навсегда вписано в историю русского искусства. А еще оно удивительным образом оказалось вписанным в мою семейную и личную летопись.

Детство

После войны и возвращения с Урала в Москву мама сначала снимала угол в одном из сретенских переулков. В отличие от Сретенки и общежития в послевоенной школе, которые я помню смутно, коммуналку в Марьиной роще в длинном двухэтажном деревянном бараке с котельной в подвале, топившейся углем, я хорошо помню. Там я жила с года до пятнадцати лет. Мама и ее сестры, к которым мы ходили в гости, все жили в старых деревянных домах: в коммуналке или в общежитии, а то и как мы, в перегородженной комнате. Даже в семидесятые годы я водила своих друзей по «деревянной Марьиной роще». Тогда эти домики еще стояли по одной стороне Шереметьевской улицы.

В детстве у меня была одна-единственная кукла, пластмассовая Люська, с незакрывающимися нарисованными голубыми глазами и нарисованными короткими каштановыми волосами. Когда ее купили, она была совсем голая, и мама сшила ей платье из моего старого. Я одевала ее, кормила, пытаюсь просунуть в стиснутый пластмассовый рот ложку с манной кашей. Я разговаривала с ней и укладывала спать, напевая: «Спи, Люська, спи, халюська». Когда я подросла, сшила кукле новое платье из мамино, которое мне так нравилось. За что получила трепку. «Один раз ты меня побила», — напомнила я матери об этом случае, будучи уже взрослой. «Полотенцем помахала», — ответила она. Отругав нас с сестрой дома за наши детские шалости, на людях она нас всегда отчаянно защищала, как тигрица своих детенышей. На Крещение мама приносила из церкви святую воду. Обрызгав все четыре угла нашей барачной комнаты, она неожиданно брызгала на нас, и мы с сестрой с визгом разбежались. Она отлавливала нас по одной и попеременно умывала святой водой со словами: «Чтоб не хворали». Мать сама недоедала, время было послевоенное, голодное, но мы с сестрой были всегда сыты и чисто одеты. Помню, как однажды мать принесла с рынка большую гроздь винограда (фрукты были в доме редкостью), съела несколько подпорченных ягод, а остальное отдала нам.

Когда пришло мое время идти в школу, мать оставила меня дома, сидеть с сестрой, и в первый класс я пошла в восемь лет. Но окончила я десятый класс в тот же год, что и те, кто начал учиться на год раньше меня. Я хорошо помню своих учителей: учительницу литературы, которая вклеила мне четверку в четверти, потому что посчитала, что я учусь ниже своих способностей, и учителя пения, от которого я

впервые услышала, что у меня красивый голос. А вот с историчкой отношения у меня не сложились. Она меня невзлюбила за мою неспособность воспроизводить формулировки из учебника, которые я всегда пыталась пересказать своими словами. «Неужели нельзя выучить?» — возмущалась она. И как ей было объяснить, что мне стыдно было повторять казенные фразы. А потом оказалось, что это мое свойство не повторять чужого, а все пересказывать по-своему и своими словами — главное поэтическое свойство, да и любое творческое тоже.

Нелюбимым учителям мы подносили в праздники цветы с могил соседнего Миусского кладбища. Помню запись в дневнике учительницы по рисованию: «Съела яблоко, которое надо было нарисовать» (между прочим, я съела свое яблоко). Справедливости ради скажу, что наши учителя были не лучше и не хуже других. А мы иногда были даже слишком жестоки: учительницу по литературе за ее малый рост мы прозвали Гнидой. Моя учительница по математике упорно ставила мне тройки за то, что я не делала домашних заданий. После урока она заставляла меня сделать неделанное, за что в тетрадку ставила пять, а в журнал путем сложения — тройку. У меня в тетрадке по ее предмету так и стояли две оценки: 2, 5 — 2, 5. Тогда ее усредненная тройка казалась мне несправедливой, ведь в итоге я знала эту математику если не на пять, то точно на твердую четверку. Теперь я понимаю, что математичка не зря носила звание заслуженной учительницы, она нашла способ научить чему-то такую лентяйку, как я. Обычно я не готовила никаких уроков, а если изредка и готовила, то на табуретке — стола в нашем пятиметровом отгороженном углу не было. Я напоминаю об этой табуретке своей дочери, когда она говорит, что у нее (в девяностые годы) было «бедное детство».

Зимой во дворе заливали каток, и мы строили высокую, в человеческий рост, ледяную крепость, которую попеременно то защищали, то захватывали. Я помню, что зимы в моем детстве были холодные и крепость не таяла до конца марта. Когда сходил снег и асфальт высыхал, мы перемещались со двора на улицу. Старшие девочки выносили длинную веревку и начинали по очереди крутить ее и прыгать: двое крутят, двое прыгают. Прыгали они виртуозно: боком, задом, передом, одна, другая, третья — впрыгивая под веревку поочередно и вместе с веревкой напоминали разноцветную гирлянду. А вокруг малышня со своими короткими скакалками, все это происходило прямо на проезжей части нашего Стрелецкого переулка, перегородив его полностью. Во дворе на крыше сарая была голубятня, и мальчишки с пронзительным свистом гоняли голубей. И был один на весь двор велосипед, собранный из металлолома. Иногда к нам забредал старьевщик. Услышав возглас: «Старье берем!» — народ высыпал на улицу, кто с чем: банки, бутылки, старая посуда, кастрюли, поломанные часы и настольная лампа, ношенная одежда и обувь. Все это старик придирчиво рассматривал и если складывал в свой мешок, то выдавал счастливым — кому мячик на резинке, набитый опилками, кому деревянный свисток, кому красного леденцового петуха на палочке. Иногда за эти дары дети приносили из дома и хорошие вещи, за что потом были биты. А еще мы сооружали подобие сцены во дворе и играли пьесы, которые сами сочиняли.

Начиная с шестого класса, я ходила в самые разные кружки: танцевальный, драматический, в литстудию — и пела в квартете местного ДК. Однажды мне пришлось поздно возвращаться с очередного занятия. И тут впереди появилась кода: человек восемь парней. Повернуть назад поздно, обойти не получится — они шли, перегородив тротуар. В такой ситуации главное вычислить вожака. «Там дальше так темно и страшно, вы не проводите меня?» — обратилась я к одному и не ошиблась. Незнакомец присвистнул, секунду разглядывал меня с некоторым удивлением и сделал знак своим дружкам исчезнуть. Они тотчас рассеялись. Помолчав, он назвал свое имя и всю дорогу рассказывал истории про трудную воровскую жизнь. А в конце спросил: «Не побоюсь ли я завтра встретиться с ним?» Я ответила: «Не побоюсь» (если не я, то

кто же будет его исправлять?). На всякий случай я рассказала об этом своей однокласснице Лидке. Она пришла в ужас и обещала рассказать все моей матери. Мы с ней поссорились, и из-за этого я опоздала на встречу. Когда я пришла к кинотеатру, где мне было назначено свидание, я увидела удаляющийся силуэт. Я окликнула своего вчерашнего провожатого, но он не оглянулся. Думаю, он назвал мне накануне ненастоящее имя, чем избавил меня от возможных будущих неприятностей: например, писания писем на зону. Жалость ко всякого рода «бедным и убогим» — очень русская черта. Однажды, увидев на улице, как пятеро парней бьют одного лежащего ногами по голове, я не удержалась и закричала: «Вы же его убьете!» Они оставили бедолагу и ушли, оставив на меня. Побитый убежал, а я, пока шла до дома, тряслась: стукнут сзади по башке и нету дочки у мамочки. Вечно я придумываю приключения на свою задницу.

Из марьинорошинской шпаны самым известным был выпускник нашей школы Александров. Услышав его имя, малышня и девчонки разбежалась врассыпную. Я помню, как услышала это имя впервые. Мы с одноклассницами стояли у ледяной горки, когда наверху появилась высокая фигура. Парень покатился вниз, сшибая всех справа, слева и перед собой. Вопль: «Александров!» — вывел нас из ступора, в панике мы бросились бежать. Вдруг послышался крик — это одна из моих подружек споткнулась, упала и продолжала двигаться ползком по-пластунски, отталкиваясь от снега ботами с меховой оторочкой. Ей только маскхалата не хватало. Увидев это, мы остановились одна за другой и стали смеяться. Смеялись мы так долго, что не заметили, куда делся Александров со свитой. Скорее всего, он даже не заметил, как мы помогали подняться подружке: отряхивали с нее снег и успокаивали.

В детстве во дворе было интересней, чем в школе. Но уже с шестого класса у нас сколотилась девчачья компания, и мы встречались и помимо школы. Я была записана попеременно в двух районных библиотеках, где перечитала все книжки. Чтобы получить приключенческую книгу, требовалось прочитать три книжки всякой скукоты про пионеров, но были там и Волков, и Носов, и Беляев. Начитавшись «Трёх мушкетеров», мы с одноклассницами переписывались во время уроков и подписывались их именами. После мушкетерского почтового братства мы с моими подружками Лариской Балмашевой и Танькой Прибыловой организовали в школе тайное общество, и я написала его гимн. После школы я собралась поступать в Литературный институт, но все неожиданно поменялось. Причиной тому стала моя одноклассница, которая вслед за своим возлюбленным собралась по комсомольской путевке в Тольятти на стройку Волжского автозавода. Она боялась ехать одна и упростила меня помочь и поехать с ней. Я тогда работала секретаршей в архитектурной мастерской, и мои архитекторы отговаривали меня, особенно наш фотограф. Он говорил мне, что работал не на одной стройке, и там нет никакой романтики, одна грязь. А я говорила, что обещала однокласснице и не могу ее обмануть. А вот одноклассница, когда ее предмет обожания в последний момент раздумал, раздумала тоже. Узнала я об этом уже с билетом на руках.

Взрослая жизнь

По приезду на стройку я получила от Таньки письмо: «Бонжур, милая, с приветом Ваш Д'Артаньян! Мари, разрешите вас так называть по старой дружбе. Я признаться был ошарашен (пардон за выражение, иначе я не могу выразить свое изумление), когда узнал, что Вы добровольно покинули наш дорогой Париж. Когда я встретил Атоса (Лариску), то все прояснилось: вместе с ним мы долго ругали Шарлотту (Коркину), которая все это Вам устроила. В общем, я поражен Вашими патриотическими чувствами. Если Вам нужно общество с простым народом, то неужели надо покидать наш любимый город? Но, Слава Богу, Вы уехали только на один год. Будем надеяться,

что Вы на следующий год будете при дворе и поступите в Королевскую академию (институт). Жду с нетерпением Вашего письма. Адыю. Целую руки. Ваш верный друг Д'Артаньян. P.S.: Танька, пиши, найди время».

Наше Су-15, строившее подсобные помещения для автозавода, было совсем не похоже на киношные и описанные писателями комсомольские стройки. Нас было восемь девушек-москвичек, и мы по шесть часов в день опускали и поднимали двадцатикилограммовый вибратор в опалубку с бетоном. Вспоминаются бессовестные евшушенковские строки из «Братской ГЭС», воспевающие бетонщицу Ньюшку, которая дает в день двести процентов(!) нормы. Поподнимай этот вибратор не год, а дольше, я бы и одного ребенка не смогла родить. На восемь девиц в бригаде было всего два мужика лет по сорок. Работали наши мужички с прохладцей. У них была присказка: лучше лежать, чем сидеть, лучше сидеть, чем стоять, лучше стоять, чем идти и лучше идти, чем бежать. А у одного еще была, как я ее называла, *волчья песня*: и нас никто не любит, и мы никого не любим. На стройку работы приехали с деньгами, чтобы купить «жигулёнок» по себестоимости (сейчас не помню, но по какой-то очень низкой цене), она полагалась всем строителям. Денег на машину у меня не было, поэтому я ходила на курсы вождения мотоцикла и даже сдала на права. Девушки, приехавшие со мной, были разные: добрая разведенная женщина, мы называли ее мама Валя, маленькая и застенчивая учительница музыки в детском саду, опекавшая ее мужеподобная, не выпускавшая сигарету изо рта Вера и две сестры с московского ЗИЛа. Мне запомнилось, как однажды одна из сестер, поняв, что не добежит до общежития, присела пописать в ближайшем подъезде. Кто-то из жильцов застукал ее за этим делом и вызвал милицию. Молоденький милиционер попытался ее пристыдить: «Не стыдно вам, девушка?» На что она, не моргнув глазом, ответила: «Пусть лучше лопнет моя совесть, чем мочевой пузырь!»

В первую же получку я послала матери деньги, чтобы она вставила себе зубы. В ответ я получила письмо, что она купила на эти деньги радиолу. Совсем как у цыган: «Мы поем и пляшем, значит, мы живем!» Половину заработанных денег я отсылала домой, а еще покупала книги. Там, в Тольятти, я купила подписку на два первых своих четырехтомника Есенина и Лермонтова. Эти собрания сочинений библиотеки «Огонёк» положили начало моей библиотеке. В доме матери книги всегда были, но по прочтении они отправлялись назад в киоск «Союзпечати», в получку мать их покупала, а в конце месяца, когда деньги кончались, относила назад. По сути, мамин киоск был долгое время нашей домашней библиотекой. Когда через год я вернулась в Москву, то привезла с собой чемодан книг и приобретенные мною на стройке специальности: бетонщика, стропальщика, каменщика и мотоциклиста. Только в отличие от книг ни одна из этих специальностей мне в жизни никогда не пригодилась. По возвращении домой меня ждал сюрприз: мать и сестра, обе, вышли замуж. На мой вопрос: как это произошло? — они ответили, что им было скучно без меня... В Московском экскурсионном бюро, куда я пришла наниматься на работу, директор из военных со смешной фамилией Замиралов взял «девочку с косами» организовывать экскурсии. Он же через десять лет уволил меня без сожаления из экскурсоводов за публикацию в парижском «Континенте» пяти моих любовных стихотворений.

На следующий год я прошла творческий конкурс в Литературный институт, но получила полупроходной балл на экзаменах (потом оказалось, что он был проходным). Не дожидаясь окончательного решения, я уехала в Питер. Там начинались еще одни экзамены — в институт культуры (и отдыха, как я ее называла), куда меня посылало мое экскурсионное бюро. Предложение было заманчивым: мне должны были платить стипендию в размере моего оклада, что в условиях проживания в чужом городе было немаловажно. Были и личные причины. Сдав экзамены на пятерки, я осталась учиться в Ленинграде. «Это хорошо, что ты поступила не в литературный институт — они бы тебя испортили», — сказал мне потом Саша Сопровский — поэт и мой будущий муж.

Я познакомилась с ним как раз в тот год. Тогда Саша пришел на студию, где разбирали мои стихи, и выступил в роли защитника. Потом вдвоем мы бродили по Москве до ночи, и, вернувшись домой, Сопровский написал подробный разбор моей рукописной книжки, подаренной ему при прощании. Тогда мы так и не познакомились толком, я сразу уехала в Ленинград поступать в институт. Я прочла его записи через сорок с лишним лет и обнаружила, что мое основное качество: «внутренняя свобода». Меня удивило и обрадовало то, что с первого дня нашего знакомства Саша понял, что для меня было самым важным: эта самая внутренняя свобода, свобода от чужих мнений, пристрастий, вкусов и других предпочтений времени. Возможно, он это понял, потому что сам в еще большей степени обладал такой свободой. Например, творчество Сопровский рассматривал как попытку приблизиться к Творцу, а не к читателю. Читателя он просто не брал в расчет, даже если этот читатель был из его близкого поэтического окружения. Например, в конце 70-х годов друзья укоряли его в том, что он перестал писать лирику, а пишет про мусоровоз и другие советские реалии и как он «флаги красные срывал». А ведь он первый обозначил в стихах то время как «застой». Когда же началась перестройка и все бросились вспоминать советское время, он вернулся к лирике. А о политике писал в своих публицистических статьях. Они не напечатаны, так же как и некоторые его критические статьи, письма и переводы из личного архива.

Предки Сопровского были, как и Саша, бунтарского склада — сплошь революционеры. Его дед со стороны отца Зиновий Магергут участвовал в Октябрьском перевороте и позже как эсер был сослан и из ссылки не вернулся. А прадед со стороны матери граф де Лаваль во время Великой Французской революции встал на сторону восставших и после Реставрации вынужден был эмигрировать в Россию. Мать Сопровского говорила, что у нее в роду были не только французы и поляки, но и русские дворяне — декабристы. Когда в 2017 году я была на фестивале в Иркутске, то попросила Игоря Дронова показать мне, где похоронен Колчак. Там на берегу реки стоит деревянный крест и памятник адмиралу рядом со Знаменским монастырем. Когда я зашла на территорию монастыря, то почему-то первое, что увидела, — могилу жены декабриста Трубецкого Екатерины Трубецкой и их детей: Никиты, Владимира и Софьи. Я потом сказала Игорю про декабристов: только не помню — Волконские, Трубецкие или еще кто. «Так Екатерина Трубецкая — урожденная Лаваль», — заметил Игорь.

В семье Сопровского от тех времен ничего не сохранилось, только несколько фотографий и пачка писем Сашиной бабки Станиславы-Лизаветы де Лаваль из блокадного Ленинграда. Большая часть — это письма ее детям, оказавшимся в эвакуации. Графская дочка и мужественная офицерская жена, она как могла поддерживала своими письмами детей и надеялась, что все они скоро будут вместе. В одном из писем она пишет, что еще в октябре 1941 года в городе не осталось ни одной кошки, всех съели! Но что, пережив страшную зиму, они надеются на скорый конец войны. Это последнее письмо датировано 22 июня 1942. Ее муж Георгий Сопровский, который в октябре 1941 года был ранен под Ораниенбаумом, умер тогда же, в августе 1942 года. Революции и войны прошлого века сметали не только известные фамилии и даже целые династии, они не пощадили и рядовых участников.

Однажды, еще в восьмидесятые годы, Сопровский привел меня к двум поэтам — Семёну Израилевичу Липкину и Инне Львовне Лиснянской. Он уже не раз бывал у них в гостях, а я пришла впервые. Увидев меня, Инна Львовна сказала Саше: «Мне говорили, что твоя жена похожа на меня, а тут пришла красавица с косами». От этих слов я так растерялась, что уронила коробку с тортом на пол. К счастью с тортом ничего не случилось, и мы все прошли на кухню. Семён Израилевич сказал, что сегодня угощать гостей чаем его очередь. А Инна Львовна попросила называть ее

запросто Инной. Саша так и делал, а я все-таки предпочла обращаться к ней по имени и отчеству.

— У каждого из нас свои поклонники, — говорила Лиснянская, пока Липкин заваривал чай.

Мы с Сашей сразу разделились: он за Липкина, я за Лиснянскую. Сейчас я люблю их обоих и не разделяю. За чаем Семён Израилевич замечательно рассказывал разные истории. От избытка чувств я тоже что-то начала говорить, но Лиснянская строго остановила меня словами: «Когда Семён Израилевич говорит, его никто не перебивает». Потом она увела нас с Сашей в свою комнату, чтобы почитать свое новое стихотворение. «Я боюсь читать Семёну Израилевичу стихи, он сразу говорит, что писать надо так: «Оратор римский говорил»¹. Я еще не раз бывала у Липкиных и с Сашей, и позже со своей швейцарской подругой Галей Бови. Однажды Галя, которая пела стихи Лиснянской под гитару, заставила и меня спеть Липкиным несколько моих баллад. Семён Израилевич внимательно слушал, а потом сказал: «Часто бывает так, что приходят люди, читают свои стихи, и чувствуешь неловкость — не знаешь, что им сказать. А тут все понятно: талант, талант!» Инна Львовна ревниво спросила: «А я, Сёма»? На что Липкин мягко ответил: «Ну, конечно, и ты Инночка. Но Таня, Таня...»

Я бережно храню два листочка с их автографами. Один написан рукой Липкина, другой — Лиснянской. Они выписали названия стихов, когда читали рукопись моей первой книжки «Наука любви». Списки лишь в одном случае пересеклись, и по выбору стихов видны их характеры. Лиснянская отметила то, что вызвало у нее вопросы или несогласие, а Липкин отметил стихи, которые ему больше понравились. Он и предисловие к книжке тогда написал, по-моему, единственной среди моих сверстников — чем я горжусь.

Инна Львовна была очень современной, откликающейся на все новое, легкой на подъем. Однажды она приехала к нам с Сашей в Черёмушки (была еще Галя Бови) и с азартом участвовала в веселой викторине, устроенной Сопровским. Тема викторины была: «любимые знаки препинания поэтов». Возможно, это был мой день рождения, потому что тогда она подарила мне свою книжку стихов с надписью: «Тане Полетаевой — хорошему поэту и человеку, что редкость».

О том, что Семён Израилевич умер, мне сообщил по телефону Сергей Гандлевский: «Я подумал, что нужно тебе сказать, вы же были дружны». В день похорон было холодно, на Переделкинском кладбище раввин отчитал службу, и все пошли пешком в дом отдыха писателей. Там был накрыт стол, выступало много писателей и говорили много добрых слов. Потом поднялся сын Липкина и, обращаясь к Лиснянской, сказал: «Мне, конечно, обидно за мать, но ты была отцу хорошей женой».

На обратном пути уже в такси (с Лиснянской, ее двоюродной сестрой и поэтом Олей Постниковой) мы говорили о Липкине. И я сказала невпопад, что он был очень добрым. Я как сейчас вижу его по-детски широко открытые, светлые глаза.

— Семён Израилевич был очень строгий, — возразила Инна Львовна.

— Да-да, — согласилась я.

А про себя подумала, что все же ко мне он был очень добр.

У меня есть групповая фотография, сделанная, когда мы были в Переделкино у Липкиных целой компанией с Бахытом Кенжеевым, Пашей Крючковым, Юрой Кублановским и Витей Чубаровым, моим вторым мужем. Это было в последний раз, когда я видела Семёна Израилевича и Инну Львовну вместе.

¹ Стихотворение Ф.И.Тютчева «Цицерон».

Асташково и его обитатели

Я горожанка, но всякий раз, чтобы писать, я уезжаю в деревню. Сначала это была деревня Барыбино, где мама с отчимом работали, она комендантом, он сторожем на дачах Центросоюза. Там у них был казенный дом и участок, который им обещали отдать по выходе на пенсию, правда, потом обманули. В Барыбино была моя первая дача. На казенном участке мама развела райский сад с клубникой, малиной, черной смородиной сорта «голубая ранняя» и яблонями. Съесть все это было невозможно, и я помогала ей в свои летние каникулы отвозить излишки урожая на рынок продавать. В доме у мамы было ружье, из которого сначала отчим, а потом и она давали залп в воздух, «чтобы разогнать жуликов». А за садовыми участками была настоящая березовая роща. Мой отчим провел на мамином участке, а потом и на всех дачах, водопровод — у него были золотые руки. После Барыбино местом моего летнего отдыха стала деревня под Кимрами с красивым старинным названием Трасловль, что означает отросток, ответвление от главной деревни. А в последние двадцать лет с мая по октябрь я выезжаю в подмосковную деревню Асташково, где в начале 90-х годов после смерти моего первого мужа я начала строить дом и строю его до сих пор. Неподалеку, километрах в десяти отсюда, в деревне Алексеевской — места моего детства. Мы с сестрой провели здесь чудесное лето. Сейчас от всех жителей деревни осталось семь человек. А вот старинная деревня Слободищи на другой стороне Егорьевского шоссе и сегодня насчитывает две сотни жителей. Там есть действующая старообрядческая церковь Иконы Казанской Божией Матери. В тридцатые годы ее закрыли, но после войны открыли вновь. Церковь деревянная, построена в 1882 году.

Места здесь были дикие: леса да болота. В эти болотистые и малопригодные для жизни места Иван III сослал опальных новгородцев, а после религиозного раскола при Алексее Михайловиче сюда бежали староверы. Ими была создана своя образовательная система, когда монашки-келейницы ходили из одного старообрядческого села в другое и обучали детей грамоте. Здесь существовали свой особый быт и культура, «книжная ученость» высоко ценилась. В старообрядческих районах, например, в соседних Гуслицах, грамотным было почти все население, включая женщин. Знаменитые русские фабриканты: Кузнецовы, Рябушинские, Морозовы, Солдатенковы — все они из староверов, так же как и основатель Третьяковской галереи.

По соседству с Асташково есть деревня Молоково (возможно, название произошло от одной из старообрядческих сект — молокан). Когда я двадцать пять лет назад в первый раз ехала в Асташково по Егорьевскому шоссе, то увидела вдруг деревянный, на манер старинных, указатель: деревня Жгель.

— Потрясающе, это же старинное название Гжели! — воскликнула я на весь автобус.

— Да просто с ошибкой написали, — возразил сосед.

Пришлось объяснять, что название села Жгель, где изготавливали и обжигали (отсюда и название) знаменитую с синими цветами посуду, чем-то похожую на немецкий мейсенский фарфор, известно издавна. Целый район представлял собой многочисленные разноименные деревни Огжель, Агжель, Жгель Гжельской волости Бронницкого уезда. С XVII и до XX века здесь работали более полутора сотен крестьянских фарфоро-фаянсовых предприятий. Кстати, стилистика гжельской росписи очень похожа, можно сказать, практически совпадает с узорочными вставками в старообрядческих рукописных богослужебных книгах. И сейчас гжельский завод существует. Несколько лет назад для него в соседнее Молоково приезжали брать глину. Вырыли огромный карьер, после дождей тот наполнился водой. Глина воду держит, так и получилось озеро. Теперь есть где поплавать, а то местная речка Сеченка мелкая, где по грудь, а где и по колено.

А тот старый указатель на Жгель со временем исчез. Наверное, на месте вымершей деревни теперь стоят дачи. Два года назад, когда местный автобус подпрыгивал на ямах и рытвинах дороги, ведущей от железнодорожной станции Шевлягино в Асташково, я увидела не менее замечательный самодельный указатель, предупреждающий: осторожно, ху-вая дорога! Мне кажется, русская особенность состоит не в какой-то там идее, а в стойком юморе народа и в его неистребимом желании называть все своими именами. Через неделю остроумный указатель исчез, на дороге наляпали заплаток и даже белую разметку нанесли. А через два года положили асфальт — похоже, обратная связь все-таки существует.

В моем саду в Асташково кроме кустов и деревьев растут с полсотни разных цветов, трав и растений. Вон зацветает темно-желтыми цветами зверобой, или Иванова трава. Еще народ называет его травой от 99 болезней, он входит почти во все лекарственные сборы. Мята, которой у меня множество, зацветает позже. Ее нежно-зеленые листочки с мелкими сиреневыми цветами, заваренные как чай, приносят сладкий сон и успокоение. Мята известна с древности, о ней упоминается еще в Евангелии от Матфея. Сейчас в саду много небесно-голубых незабудок, они растут по краю клубничных грядок и просто в траве. А весной впервые за много лет выросли несколько ландышей, цветов, редких даже для леса. Иван-чай, сныть, первоцвет, мать-и-мачеха, клевер, пижма, тысячелистник, цикорий, колокольчики, ромашки. Есть, конечно, плодовые деревья и кусты и цветник с розами и лилиями — словом, райский сад. Но в отличие от библейского райского сада в моем саду яблони не растут. Сажали мы их, сажали, но вода близко, и они погибают. Одна яблонька, где повыше, — выжила, но цвести не цветет и яблок не дает. А вот змеи нередко посещают наш сад. Они охотятся здесь на лягушек, а ежик, который повадился приходить к нам из леса, и я его подкармливаю, охотится на самих змей. Еще ежик любит полакомиться очистками от огурцов и помидоров, огрызками яблок или попить из кошачьего блюдечка.

Тут стоит рассказать о наших коте и кошке. Кот Васька — молочно-белая шиншилла. Когда он, сверкая янтарными глазами, почти неслышно мяучит, то от него расходятся круги доброты и любви. Муся — осторожная и умная кошка. По кошачьему тесту она набрала высший бал, не то что добродушный раззява-кот. К тому же она необычной бело-голубой окраски, словом, красавица. Когда я принесла полуторамесячную Мусю домой, она тряслась от страха и поначалу казалась трусихой. Но не прошло и года, как она сбежала на улицу. В ней причудливым образом соединялись боязливость и жажда приключений. Это было летом, и мы с дочерью обежали свой двор и все соседние дворы, зовя её: «Муся, Муся!» Когда наконец мы вернулись назад, то увидели кошку на трубе, опоясывающей наш дом на уровне метра от земли. «А она здесь уже целый час сидит», — сказали бабушки, сидевшие на лавочке у соседнего подъезда. Спрыгнуть с трубы она побоялась, мы бегали и звали её, а она преспокойно наблюдала за нами. Для меня тогда осталось загадкой — как она вышла из дома. Теперь-то я понимаю, что она просто спрыгнула с балкона на трубу (у нас второй этаж), обошла по ней вокруг дома и остановилась там, где труба заканчивалась, — у двери соседнего подъезда.

Её любовь к независимости и путешествиям проявлялась постоянно. Каждый год она убегала из дома, а однажды пропала больше чем на месяц. В день, когда она исчезла, красили подъезд. Возможно, запах краски погнал её на улицу, и он же не помог ей найти дорогу в свой подъезд. Я уже мысленно распрощалась с кошкой, но однажды рано утром мой муж увидел её во дворе. Она одичала и не давалась ему в руки, тогда он вернулся домой и разбудил меня. Когда я её увидела, то не узнала свою кошку: кожа да кости, я боялась, что она не выживет. Муся перестала убегать только после того, как в доме появился Васька. Ваську я увидела на нашей Новочерёмушкинской улице. Женщина несла в клетке двух котят, серого и белого, пушистых невероятно, они были похожи на пару пуховых варежек. Она рассказала, что каждое утро в семь часов

приносит их в магазин на продажу, а вечером забирает. Мне стало жаль котят, и я сказала, что взяла бы одного, чтобы моя кошка не убежала, только денег у меня с собой нет. Женщина согласилась дойти со мной до сбербанка. Пока я получала в кассе нужную тысячу рублей, котята проявили свои характеры. Жемчужно-серый котенок забился в угол клетки от ужаса, а белый пушистик, наоборот, прошелся по подоконнику, всем своим видом показывая доброжелательность и интерес к происходящему. «Васька», — улыбнулся ему какой-то работяга, когда я несла котенка домой. Так он получил свое первое имя. А муж наградил его еще парой имен: Мусин-Пушкин и Дымщиц.

На следующий год мы взяли Ваську с собой на дачу. Был вечер, темно. Я выпустила кота с рук в траву, и он сначала замер, а потом ползком все смелее и смелее двинулся обследовать дорожки и кусты смородины. Не прошло и десяти минут, как в саду раздались дикие вопли. Я стала звать: «Васик-Васик», и с трудом разглядела серо-белый клубок, катавшийся в траве. Я попыталась растащить двух сцепившихся котов. Схватив ветку, я стала хлестать ею непрошеного гостя Кузю Заречного, пока тот не ретировался. При этом я с трудом удерживала дрожащего от возбуждения Ваську, пытаясь его успокоить. Так проявилась еще одна черта характера моего любимца — отважность. Мой годовалый кот не уступил матерому взрослому нарушителю, защищая свою территорию. Муся, как и положено особе голубых кровей, невозмутимо взирала на все с крыльца.

А до Васьки с Мусей у нас был кот Мурзик, очень добрый и спокойный кот. Маленькая Катька наряжала его в куклино платье и чепчик и катала в игрушечной коляске. Кот путешествовал с нами в Трасловль в металлической сетке для яиц. А однажды он спас нам с дочерью жизнь. Дело было так: ночью я поставила чайник на газовую плиту и, умаявшись за день, нечаянно уснула. Проснулась от того, что кот дико кричит прямо у меня над ухом, дочь тоже проснулась. Очень пахло газом, мы бросились открывать окна — потом еле-еле очухались. После этого случая к имени Мурзика добавилось почетное звание Спасатель. И я купила отключающийся электрический чайник.

Мои кошки вечно приносят мне что-нибудь. Муся поймает мышь в саду и несет мне в дом — похвастаться, поиграет с ней, а потом мышь удерет. Так игривая кошка развела у меня полный дом мышей. Кот тоже гордо приносит мне то птичку, то кузнечика, то лягушку, и я их всех выручаю из цепких кошачьих лап. Здесь летом на воле звериные инстинкты моих кошек обостряются. Они сторожа сада, и я как могу защищаю от них забредшую и залетевшую в наш сад живность. Так, в железную бочку, врытую в землю, попали два десятка лягушек. То ли они сюда попрыгали, чтобы размножиться, когда вода еще не ушла, то ли просто попадали, но уже три недели стоит несусветная жара, в бочке сухо, и я опустила лягушкам большую миску с водой. Так они и сидели по краям миски, как вокруг бассейна. А потом я их эвакуировала, для чего опустила в бочку широкую доску и, заглянув туда через час, увидела, что бочка пуста. А вчера пришлось вылавливать из глубокого колодца ящерицу. Она сутки билась за жизнь, пытаясь выбраться из воды, пока я с двадцатой попытки не вытащила ее ведром, сама чуть туда не свалившись. Возможно, все это глупо, но Господь дал нам не только власть над зверьем и птицами, но и чувство сострадания, чтобы мы оберегали их, как Он оберегает нас.

Помойка

Когда с начала девяностых мы каждое лето стали приезжать в Асташково, нам очень досаждала помойка, которая довольно быстро образовалась поблизости. Она являлась не сразу. Сначала то тут, то там вдоль обочин были видны брошенные пакеты из-под сока и молока, обрывки упаковок из фольги и пластиковые бутылки. Здесь же валялись пустые жестяные банки из-под пива, краски, консервов и еще Бог знает что! Все чаще попадались разбитые стеклянные банки и дырявые кастрюли, старая обувь

и обрывки тряпья. Иногда что-то из этого набора украшало ветки придорожных кустов и растущие вдоль обочины сосны. По мере приближения к ее эпицентру валялся так называемый строительный и тяжелый мусор. Это были обрывки толя, куски стекловаты, деревянная бочка с окаменевшим цементом, пустой короб старого холодильника, ржавая плита, покореженный остов «Запорожца», сгоревший автомобильный мотор, полувыпотрошенный телевизор и разбитый радиоприемник — последние надолго здесь не задерживались. Так же, как старая, разломанная мебель. В самом центре помойки — склад стеклотары.

Постоянные обитатели помойки — добровольные мусорщики из местного населения и приезжие бомжи. Они все время были в работе: подхватывали летящие из окон проезжающих автомобилей пакеты с пищевым мусором, пустыми бутылками и тряпьем. Вытряхивали эти пакеты на землю, рылись в них, классифицируя мусор. Откладывали нужное в сторону, тут же примеряли понравившуюся вещь. Особенно охотились за пустыми бутылками, тогда они стоили по пятьдесят копеек, а то и по рублю, и при особом усердии можно было собрать их на тысячу рублей в месяц. В те бедные, неустроенные годы для деревни это был и местный секонд-хенд, и закусочная: выброшенные просроченные продукты быстро шли в дело, так же как и бутылки с недопитой колой. Однажды какой-то торговец выгрузил здесь целый грузовик подпорченных арбузов. Два дня деревенские и даже дачники несли и везли домой эти арбузы.

У помойки были свои дети, мальчишки, поджигающие мусор и взрывающие бутылки с остатками горючих жидкостей. Потом появились девочки-сиротки, которые предлагали автомобилистам и мусорщикам женские услуги. Прямо в машине или в поле, где давно не растет ничего культурного, но буйство дикорастущих трав. Для полноты картины на этом поле вместе с лекарственной ромашкой и зверобоем мне попался использованный одноразовый шприц. Когда на стихийно образовавшейся помойке местные власти установили контейнер, то сюда стали изредка приезжать мусорщики из районного центра. Но не для того чтобы увезти мусор, а чтобы поджечь контейнер с мусором, так проще — и грузить не надо, и контейнер пустой привозить. А вот гасить никто не приезжал, и черный дым стелился на километр вдоль шоссе. В прошлом году, когда огонь перекинулся на противоположную сторону шоссе, лес загорелся и горел неделю. Помойка быстро заняла пожарище. С каждым годом она росла и расплзалась, напоминая собой бесформенную пестро и грязно одетую бродяжку. Она уже захватила лесополосу, часть луга с люпинами и край соседнего ельника

А четверть века назад, когда я сюда впервые приехала, на месте помойки росли рыжики — грибы, которые с незапамятных времен собирали для царского стола. В московской области они обычно не растут из-за плохой экологии, но вот росли же рядом с моим домом. Было интересно отыскивать крепкие приземистые рыжики среди сосновых иголок и песка, вобравшие их зелено-желтые оттенки. На срезе гриб был ярко-оранжевый — такой, каким он будет после засолки. Весной в лесу, там где он подходит вплотную к шоссе, можно было собрать целую корзину ландышей. Здесь же, на пригорках, краснела земляника. Идя вдоль шоссе до поворота, можно было за полчаса собрать литр-два. А со времен заселения этих мест дачниками, идя до поворота, можно лишь собрать сумку бутылок разного калибра (правда, цена им теперь три копейки, и никто их не собирает) и еще сумку пивных алюминиевых банок.

— Между прочим, от алюминиевых банок лет через пятьдесят эта местность будет полностью заражена, и у всех жителей будет болезнь Паркинсона, — говорил наш сосед Коля.

— Слава Богу, что к тому времени меня уже не будет на свете, — отвечала я. — Если, конечно, раньше все не помер (помойка стояла не только на краю леса, но и на берегу местной речки, куда стекала сверху всякая дрянь).

— Через пятьдесят? Да здесь через пять лет ничего не будет: ни ягод, ни грибов, — говорил Витя (мой муж).

Мы тогда приехали с ним в конце ноября проведать деревенский дом и забрать оставшийся в подполе мешок картошки. В набитой электричке с парнями и девушками, пьющими пиво, лихо матерившимися и курившими прямо в вагоне, мы ехали час, а потом загрузились в местный автобус. Автобус минут тридцать стоял на железнодорожном переезде с неработающим светофором. И вдруг рванул на мигающий красный свет, чудом проскочив перед самым поездом. Через полчаса мы вышли, а автобус покатил дальше до конечной станции. Пока я доставала картошку из подпола и загружала ее в два рюкзака, Витя с соседом, который приехал накануне, уговорили бутылку «Гжелки». Для меня они включили песню «Конфетки, прянички для милой Танички». Пока мужчины допивали «Гжелку» и слушали песни Аркаши Северного, я обошла дом, пряча все, что могло заинтересовать воров. Впрочем, догадаться, что этим ворам понадобится, — непросто. Как-то под Новый год у меня из дома вытащили телевизор, электроплитку и электрический чайник. А старенький приемник ВЭФ оставили, хотя из перечисленного списка только он один и был в рабочем состоянии. «Вот видишь, я не дом захламляю поломанной техникой, как ты изволишь выразаться, а воров с толку сбиваю», — такой была Витина реакция. В ответ на наше с Катей недовольство тем, что он приносит в дом старье, Витя отвечал, что в Вильнюсе, где он жил раньше, помоек нет, там ничего не выбрасывают. Чаще всего он принесил с помойки самые разные книги. Один раз принес большой фолиант «Венки Ленину», в другой раз — несколько томов из литературной энциклопедии, издававшейся в 30-годы. «Мама, скажи Вите, что цена одного квадратного метра жилой площади в Москве превышает в сотни раз ценность того, что он приносит с улицы», — говорила дочь.

Пора было уезжать из Асташково, а я никак не могла найти ключ от замка. «А разве ты не спрятала его от воров?» — пошутил Витя. В конце концов мы все-таки вышли и двинулись к автобусной остановке.

— За грибами можно ходить в дальний лес, — продолжала я разговор, ни к кому особенно не обращаясь.

— Помойка и туда доберется, — возразил Витя.

— Точно, — соглашался Коля. — Мой сосед устроил помойку на задах, прямо у меня под носом. Я ему говорю: «Тебе Бог дал помойку поблизости — отвези туда». А он мне отвечает: «И здесь сгниет». Скоты, все скоты!

— А давайте вступим в партию зеленых или в Гринпис, — предложила я.

— В Гринпис тебя не возьмут, ты не умеешь лазить по канату, — сказал Витя.

— Поэтому мы и живем на помойке, что всё шутки шутим, — ответила я.

— Скоты, все скоты, — повторил сосед. Этой фразой он начинал и заканчивал любой разговор.

— Не все, — возразила я и махнула рукой в сторону луга.

По тропинке в нашу сторону медленно шла женщина. В одной руке у нее был пластиковый пакет с продуктами — она возвращалась из магазина. В другой пакет она собирала мусор, который попался ей по дороге. Пройдя мимо помойки, она аккуратно положила пакет с мусором в контейнер и пошла дальше уже с одним пакетом. Мусорщики не обращали на нее внимания, она не конкурент им и мусор у нее не тот. Она не местная сумасшедшая, как может показаться сначала, она капитанша. Сюда, с вышедшим в отставку капитаном 2 ранга, она переехала несколько лет назад. Тогда они обменяли свою феодосийскую двухкомнатную квартиру на «двухэтажный дом в ближнем Подмоскowie». Дом оказался одноэтажной бетонной коробкой в полутора часах езды от города. Второй этаж они достраивали сами из сосновых бревен. В конце концов, устроились, обжились, сохранив старую морскую привычку — каждый день драить палубу. Так капитанша называла уборку дома, двора и прилегающей к нему территории. Только вот скучала она по своей феодосийской квартире с видом на море.

— Зачем же вы отсюда уехали? — спрашивала я.

— Мы русские — хотели жить в России.

— Это понятно, — отвечал Витя.

Он и сам в начале перестройки приехал из Литвы в Москву, чтобы жить в России.

— Бумажки собирать — это ерунда, — сказал сосед, спотыкаясь о какую-то железяку и чертыхаясь. — Я вчера ночью перетащил на проезжую часть дороги брошенный на обочине холодильник. Пусть попрыгают через свой мусор, скоты, как я прыгаю.

— Ты что? Люди могли разбиться, — возмущилась я.

— Это не люди.

— А не наш ли это автобус? — вдруг спросил Витя.

Действительно, наш автобус, который ходит всего три раза в день и обычно опаздывает на двадцать минут, только что проехал мимо нас на десять минут раньше положеного. Я только успела увидеть его желтый, забрызганный грязью зад. До ближайшей электрички пешком по дороге двенадцать километров, напрямую через поля — девять.

— Пешком не пойду, — сказала я неуверенно, глядя на свои белые сапожки.

— Это не труднее, чем лазить по канату, — мягко заметил Витя, забрав у меня рюкзак.

Он забросил рюкзак на свободное плечо и пошел вперед с двумя рюкзаками.

— Потихонечку, с привалом и с пивком, — подхватил меня под руку сосед, хлопая себя по оттопыренному карману.

Небо потемнело и посыпало на нас первыми крупными хлопьями снега. Помойка пестрела позади, я бросила на нее последний взгляд. Зимой она, как всякий живой организм, замрет до весны и, прикрывшись снегом, будет выглядеть почти целомудренно.

Мы свернули с дороги и пошли напрямик через черную с белыми проплешинами равнину. Бесконечную, постепенно переходящую в пасмурное небо, откуда три наши темные фигурки казались всего лишь птичьим следом на снегу...

А десять лет назад луг перед нашими домами разбили на участки и продали. И тогда на нашей Заречной улице наступил праздник: бесхозная помойка с мусорными контейнерами отодвинулась от нас, перекочевав в дальнюю слободку. Там за ней приглядывает и прибирает мусор местный мужик. А на месте помойки теперь остановка автобуса, от которой до моего дома рукой подать.

Ангел

Это было в конце девяностых. Однажды осенним вечером художник Шура Митрохин возвращался домой от друзей навеселе. Он забыл, в какой стороне находится метро и остановился, оглядываясь вокруг и пытаясь понять, куда же ему идти. Шура пребывал в благодушном настроении и готов был любить весь мир. И тут прямо перед собой он увидел девушку, пытающуюся укрыться от ветра в своем коротком, узеньком пальто. Из пальто были видны лишь красный курносый носик под блеклой копной волос и ноги в стоптанных туфлях. Девушка подошла к нему и спросила:

— У вас не найдется рубль?

— У меня нет рубля, — ответил Шура.

— Тогда давай я дам тебе рубль, — неожиданно предложила девушка.

— Да нет, — Шура полез в кошелек и вытянул из бумажника купюру с изображением президента Джексона, — вот.

— Идет, — сказала девушка, — а я здесь рядом живу, только у меня дома нет никакой еды.

— Сейчас, — неожиданно для себя сказал Шура и двинулся к светящейся неподалеку палатке. Оттуда он вернулся с пластиковым пакетом, полным еды и выпивки. Они вошли в подъезд и поднялись на лифте, Шура не запомнил, какой это был этаж. Дом был новый, шестнадцатипятиэтажный, квартира тоже новая и почти без мебели: обеденный стол и топчан, окна без занавесок.

— Вот, только въехала, даже телефона нет, — сказала девушка, когда они вошли через узкий коридор в комнату.

— Меня зовут Шура, — представился гость.

— А я, — она помедлила мгновение, — Оля.

— Ну что ж, Оля, выпьем за знакомство!

Оля пошла на кухню и принесла две рюмки, тарелку и нож. Они выпили. После рюмки «Желки» девушка уже не казалась такой сморщенной и несчастной, и Шура почувствовал себя Дедом Морозом:

— А ты что-нибудь еще хочешь? — спросил он.

— Телефон поставить. Здесь пока нет телефона.

— А сколько это стоит?

— Триста.

— Триста чего?

— Триста твоих бумажек

Шура достал из бумажника три сто долларовые купюры и положил на стол:

— Пойдешь и завтра утром заплатишь за установку. Глядишь, и я когда-нибудь воспользуюсь.

Девушка сразу убрала деньги и снова наполнила рюмки, потом еще... Гость задремал, сидя за столом, и ему приснился сон с рождественской елкой, увешанной разноцветной мишурой, мандаринами и шоколадными конфетами на ниточках. Он снял конфету с ветки, она оказалась пустой оберткой, зато мандарин был настоящий, с оранжевой пупырчатой кожурой, брызнувшей едким соком. Шура даже не успел очистить мандарин до конца, как кто-то сзади схватил его за плечо. Он не сразу понял, что проснулся, и не сразу узнал свою новую знакомую, которая трясла его.

— Тебе пора уходить, сейчас муж придет, — сказала она.

Шура поднялся со стула, взглянул на часы — было девять вечера. Он спал всего полчаса. Тут он вспомнил: гулянку у друзей, подошедшую к нему девушку и то, что сначала ни о каком муже речи не было.

— Я даже не знаю, где здесь метро, — сказал он невпопад.

— Найдешь, — ответила она, настойчиво подталкивая его к выходу, и захлопнула за ним входную дверь.

— Принимай гостя! — говорит мне с порога Витя, пропуская вперед своего спутника. — Это мой одноклассник Шура, мы не виделись двадцать лет.

— Очень приятно, — улыбаюсь я.

Вот он достает из двух карманов куртки четыре бутылки пива и плитку шоколада. Гость тоже достает из пакета водку, сухую колбасу и фруктовый рулет. Я иду на кухню и возвращаюсь с закуской: солеными грибами, маринованными кабачками и квашеной капустой. Старые друзья вспоминают былые подвиги: «А помнишь... Нет, а ты помнишь?» В комнату заглянула дочь, утянула шоколадку и добрую половину рулета к себе, через минуту из ее комнаты послышались звуки баяна, и Чистяков запел через динамики мощностью в 100 ватт «Просто я живу на улице Ленина».

— А мы живем на Гарибальди, — говорю я, вернувшись с кухни. — А еще раньше жили на Кржижановского, а до этого на Олеко Дундича.

— Прямо интернационал какой-то, — удивляется Шура, — давайте лучше выпьем со свиданьем!

Все чокнулись, звякнули рюмками. Мужчины выпили сразу, я лишь пригубила и поставила рюмку на стол. Гость посмотрел на свою пустую рюмку, потом обвел взглядом комнату. Его глаза остановились на глянцевом корешке альбома «Неизвестный русский авангард».

— И сколько мы их продали во времена Брежнева, когда я был экспертом в Комиссии по обмену ценностями, — говорит он неожиданно.

— Как можно было их продавать? — возмущенно спрашиваю я.

— Враждебное нам буржуазное искусство. Сейчас стыдно вспомнить, что продавали и за какие копейки продавали. И Филонова, и Кандинского, и Малевича.

Из всех перечисленных мне было особенно жаль картины Филонова. В юности я исправно бегала на все художественные выставки. Сначала в Пушкинский музей и в Третьяковку, а потом на разные полуподпольные и подпольные выставки в ЖЭКах и ДК. Когда я училась в Ленинграде, я отстояла огромную очередь на первую выставку современных «неофициальных» художников. Это было в декабре 1974 года. Потом уже в Москве на каком-то из квартирников показывали слайды неизвестного мне художника Филонова. Они тогда поразили меня. Подлинного Филонова я увидела уже в перестройку на выставке в Музее изобразительных искусств.

— Ну, и чем же вы сейчас занимаетесь? — сухо спрашиваю гостя.

— В основном, дизайном. Иногда пишу портреты. Хотите, я сделаю ваш портрет?

— Только не сегодня, — это говорит Витя. — Ты бы спела, — обращается он ко мне.

— Да нет, я сто лет не пела, — говорю я, не очень расположенная петь в присутствии торговца Филоновым.

— Прошу тебя, сегодня прекрасный повод, — настаивает Витя, снимая со стены гитару. Взяв гитару в руки, я забываю обо всем, даже о том, что стукнуло двенадцать ночи и соседи будут стучать в стену.

— Не ожидал, не ожидал, это было великолепно, — говорит Шура, улыбаясь. — Даже не хочется уходить.

Потом он начинает прощаться. Витя одевается, чтобы проводить друга. Они уходят, но скоро возвращаются с тем же, с чем и пришли: с водкой и пивом. Первым не выдерживает хозяин, он засыпает там, где сидел, — в кресле. Я сижу, часто моргая глазами, чтобы не уснуть и не свалиться со стула, и рассеянно слушаю гостя. А тот рассматривает паркетный узор в косую елочку и говорит:

— Месяц назад я узнал, что смертельно болен, врачи обнаружили рак. У меня есть дом и жена, но уж если я умру, то оставшееся время я хотел бы провести не так, как жил. Перед смертью я хочу увидеть всех своих друзей и подарить им что-то на память о себе. Вам я тоже сделаю подарок: тебе подарю старинный гобелен — девушка с арфой. Тут гость перестает говорить и внимательно смотрит на меня.

— Не стоит. Пожалуй, пора спать.

Я расталкиваю уснувшего в кресле Витю, и они с приятелем укладываются на тахте, а я отправляюсь спать в комнату дочери.

— Ой, кто это! — пугается девочка, когда я тихонько сдвигаю ее к стене.

— Спи, это мама, — шепчу я.

И ложусь рядом на краю дивана. Ночью Витя разбудил меня, потому что гостю стало плохо. Он побелел как мел и задышался. Мы вызвали «скорую», и пока она ехала, я отпаивала гостя травяным чаем с валидолом. Словом, все обошлось. Утром гость проснулся как ни в чем не бывало и история с проводами повторилась. Несколько раз мужчины уходили и возвращались назад с выпивкой. К вечеру я так устала, что вздохнула с облегчением, когда друзья обменялись телефонами и гость наконец ушел совсем. На прощанье он сказал: «Вы такие замечательные, можно, я еще к вам приду?» Витя добродушно прогудел: «Конечно, конечно».

Убрав со стола, вымыв посуду и натянув пижаму, я ныряю под одеяло и говорю:

— Ну и одноклассник у тебя...

— Какой одноклассник?

— Да тот, который распродал народное достояние.

— Какое достояние? Я ничего такого не помню.

— Он вчера об этом рассказывал. А где вы встретились, ты хотя бы помнишь?

— Конечно, помню. У нас во дворе.

— У нас во дворе?

— Ну да. Он спросил меня, где метро. Я объяснил и даже предложил проводить, а он в ответ предложил с ним выпить.

— Ты хочешь сказать, что он не твой одноклассник? Что ты привел в наш дом чужого человека, что он жил здесь два дня и спал на нашей кровати?

— Ну, зашел человек, посидел...

- А зачем морочили мне голову, изображая старых друзей?
 - Не мог же я сказать тебе, что мы только что познакомились.
 - Тебе надо лечиться. Вон подруга Машка подшила своего мужа, когда он в очередной раз привел в дом ангела.
 - Какого еще ангела?
 - Такого ангела — какое время, такой и ангел.
- Дело в том, что ангелами муж моей подруги называет ночных гостей. Выпивая, он любит бродить по окрестностям, приглашая первого попавшегося ночного прохожего домой. Приводит и представляет его жене и падчерице: «Это — ангел». Один такой «ангел» переночевал в их доме, а утром унес с собой все их деньги и Машкины побрякушки.
- Разве мой гость что-нибудь у тебя украл? — выслушав, злится Витя.
 - Может, и не украл, но тогда он действительно ангел.
 - Так проверь, прежде чем обвинять
 - Речь не о нем, а о тебе. Зачем петь-то меня заставлял? Или ты совсем чукча?
- Спасибо, что сам с ним лег, а не меня положил!
- Ну что ты шумишь? Мужик заблудился, его кинула баба. Он был первым человеком в этом городе, который меня угощал. Обычно я всех угощаю, ведь у вас, москвичей, снега зимой не допросишься.
 - Ну, знаешь!
- Мы не разговаривали весь следующий день. А вечером позвонил ангел. Он сказал, что хочет написать семейный портрет.

Как написать сказку

Моя обычная жизнь, отражаясь, примеряет разные личины — в виде повествования и лирического дневника, стихотворения, баллады и даже сказки. И я ничего не придумываю, ведь жизнь невероятнее любой выдумки.

Все началось с того, что крошечное детское издательство, с которым я сотрудничала, закрылось. И тут позвонил мой старый друг, писатель и переводчик.

— Привет, я в Москве. Я слышал, тебе нужна работа? — спросил он и помолчал. — У нас ушла няня. Конечно, это занятие не для тебя, но, может быть, ты сможешь? Если мне придется, приехав с другого конца света, потратить все время на сидение с двумя детьми, я буду злой и усталый, тем более, что мне нужно делать срочный перевод. Подумай.

- Я даже не представляю, что нужно делать.
- То же, что ты обычно делаешь.
- Обычно я читаю книжки и сочиняю стихи.
- Этим и будешь с ними заниматься.

Словом, друг меня уговорил. Моими подопечными оказались две девочки четырех и шести лет. Я думаю, что успех этого странного мероприятия под названием «няня» заключался в том, что мне захотелось не только помочь моему другу, но и понравиться девочкам. И это получилось, потому что, когда через несколько месяцев девочек отправили к родным за границу, младшая, к которой меня и взяли, потребовала, чтобы ей вернули ее няню. Пришлось сворачивать отдых и возвращаться в Москву раньше времени. Тогда мама девочек попросила моего друга вернуть меня. «Понимаешь, — сказала она, — твоя подруга оказалась необычной няней, совсем как Мэри Поппинс. Когда друг дозвонился до меня, в ответ на его просьбу я сказала, что уже устроилась редактором в газету «Театральный курьер».

— Не думаю, что редактор получает больше, чем я буду платить. И ты можешь уйти, когда захочешь.

Так я снова вернулась к тому, чтобы скучные занятия превращать в игру и придумывать веселые песенки и считалки. Узнав, что я работала в газете, девочки тоже захотели издавать газету. Газета у нас получилась что надо — с новостями, интервью,

очерками о родственниках, фотографиями и даже кроссвордом. Следующим этапом моей работы было сочинение сказок и историй, которыми я их развлекала. Книжки и игрушки, которых у них было множество, их мало интересовали.

— Расскажи нам не выдуманную, а настоящую сказку, про живую девочку, такую, как мы, — просили они.

— Невыдуманная сказка — это уже история, кажется, я знаю не одну такую.

И я рассказывала сестрам истории про свое детство. Моя дочь, мои друзья и знакомые, даже мои кошки были героями моих историй. А еще такие неодушевленные предметы, как расческа, глиняная фигурка или просто разные слова. Когда мы выходили гулять, то героями рассказов становились улицы, площади и даже город. Мы мысленно и без особого труда забредали не только в его глухие уголки, но и в далекие времена. Но все когда-то кончается, и когда я рассталась с девчонками, я записала эти свои обыкновенные и необыкновенные истории и отправила их на конкурс. Истории про то, что вокруг нас так много интересного, что обычная жизнь не менее удивительная и невероятная, чем сказочная. Что необычное существует рядом с нами и все мы немного волшебники.

Мне не удается писать в безвоздушном пространстве, все, что я пишу, даже сказки, всегда связано с конкретным местом на Земле. Так было, когда я училась в Питере в 1976 году, и мы с Сопровским отправились на неделю в Литву. Денег на поездку не было, и я продала присланные мне подругой новенькие джинсы. Мы остановились в Ниде — в деревушке, состоящей из нескольких рыбацких домиков, — сказочное место! Бродили по длинной песчаной косе, засаженной соснами, — местные жители отвоевали ее у моря, насыпав морской берег тоннами песка. Или подолгу лежали на песчаном пляже и резались в «кинга», а потом в кафе-стекляшке устраивали соревнования в поедании горячих пончиков.

Вернувшись в Москву, я набросала несколько глав сказочной повести про королей и один день их королевской жизни. Герои в ней напоминали моих друзей-поэтов, которые своими спорами и бесконечной болтовней вызывали у меня одновременно удивление, возмущение и восхищение. В них так причудливо сочетались доброта и эгоизм, лукавость и простодушие, чванливое высокомерие с благородством. Так началась заколдованная история, которая называлась «Четыре короля». Потом я о ней забыла. Вспомнила только, когда родилась дочь, которая все время требовала сказок, для дочери я продолжила ее писать. В первоначальной редакции мои короли были не настоящими, а картонными — карточными королями. Книжка должна была выйти в 1991 году в детском издательстве, где я работала. Но рукопись потерялась, и пока я ее восстанавливала, издательство закрылось. Следующая попытка была в начале двухтысячных, когда уже были изданы две мои сказки с теми же героями в другом временном отрезке и на фоне других окрестностей.

А моих королей после очередного отказа я всё дописывала и переписывала, и каждый раз это была другая, как у Хьюго Эверетта¹, параллельная история. В семи издательствах я слышала разные причины отказа: что у меня мало печатных листов, или герои странные, что сюжет сложный, а книжка совсем не детская. В восьмом по счету издательстве в 2016 году, благодаря дружескому посредничеству, книжку наконец издали. А через несколько месяцев американским физиком русского происхождения Константином Батыгиным была открыта новая невидимая планета. Мы ее не видим, потому что планета находится на краю нашей солнечной системы и совершает полный оборот вокруг Солнца раз в 15 тысяч лет! Я о ней написала много лет назад, только у меня открытая недавно планета называлась «Невидимая звезда». Так сбылась эта сказка, и после выхода книжки закончилась сорокалетняя заколдованная история про «Четырех королей».

¹ Хью Эверетт III (1930—1982) — блестящий математик, программист, физик-теоретик, создатель в 1957 году концепции многомировой интерпретации квантовой механики — о расщеплении и ветвлении миров.